

ПРОБЛЕМА ИМЕНИ
В РАССКАЗЕ АНТОНА ЧЕХОВА *ЧЕРНЫЙ МОНАХ*

THE PROBLEM OF A NAME IN ANTON CHEKHOV'S *THE BLACK MONK*

РОМАН ШУБИН

ABSTRACT. The anthroponyms of two heroes, Kovrin and Pesotsky, are analyzed in Anton Chekhov's *The Black Monk*. Despite the conditional landscape and philosophical discourse of the story it is possible to analyze these names from linguistic, intertextual and art-interpretative positions. Also, the predecelar names enrich this research.

Roman Shubin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska.

Сложность философского дискурса у Антона Чехова составляет то, что художественное сознание Чехова остается мифологичным. Вольф Шмид определил сущность чеховского творчества как преобладание пространственных форм над временными, причинно-следственными связями, а именно: в истории, организованной линейно, возникает иной тип связи между событиями – эквивалентности, основанные на сходстве и оппозиции¹. То есть при исходном наличии какой-либо оппозиции появляются признаки, приводящие к уподоблению противоположностей. В *Черном монахе* Коврин и Песоцкий, как утверждает Анна Худзиньска-Паркосадзе, принадлежат двум рядам семантической оппозиции: „избранных” и „стадных людей”, которые связаны семьюными узами и любят друг друга². Но эта оппозиция не объясняет многого, например, причин союза и разрыва между Таней и Андреем, а смерть Коврина в один день со смертью своего опекуна Песоцкого („Сейчас умер мой отец” – читает Коврин в письме Тани) уравнивает „избранника” Коврина в „споре” со „стадным” антиподом.

В произведении есть много примеров, как бы наложенных друг на друга. Так, например, Песоцкий и Таня для Коврина люди „нервные”, но от нервного расстройства лечат Коврина; Песоцкий – создатель прекрасного сада, но чувство счастья, растворяющее личность, испытывает не его создатель, а че-

¹ В. Шмид, *Проза как поэзия: Пушкин – Достоевский – Чехов – авангард*, Санкт-Петербург 1998, с. 214 и сл.

² А. Худзиньска-Паркосадзе, *Проблема героя в рассказе А.П. Чехова „Черный монах”*, „Studia Rossica Posnanensia” 2011, nr XXXVI, с. 50.

ловек, безразличный к саду; даже две женщины в жизни философа, несмотря на всю очевидную разницу между ними, поступают с ним одинаково – нянчатся как с ребенком. А для чего Чехову понадобилось в самом начале упоминать о том, что Егор Семенович был опекуном, то есть официальным и полномочным заместителем покойного отца Андрея Васильевича (обычно эту функцию выполняли люди из родственного круга – крестный отец, дядя и т.д.), если родственность в рассказе достигается родством супружеским, остается одной из загадок рассказа Чехова.

Другого типа загадки – это антропонимы. Они по замыслу не должны быть „говорящими” и „значащими”. Как заметил Игорь Сухих, Борисовка, имение Песоцких, где происходит основное действие, „только названа, но не описана”³, что характерно для „условной ситуации, тяготеющей к притче”. Названы (и не мотивированы) и герои философской повести. С другой стороны, стремясь к стертисти и условности антропонимического знака, Чехов наделяет эти фамилии уникальными свойствами. **Песоцкий** по сюжету оказывается единственным в своем роде: „известный в России” садовод, а образование фамилии при помощи форманта **-цкий (-ский)**, типичного для польской ономастики, вносит нерусские коннотации (например, возможность прочтения апеллятивной основы не как **песок**, а как **пёс, pies-ocki**)⁴. Его фамилия необычна (не **Песков** же) на фоне обычного русского названия его же собственного имени Борисовка; и если суффикс **-цкий** свидетельствует о территориальной принадлежности и указывает на (дворянина) владельца имения⁵ (предположительно под названием Пески или Песоцк), то почему же этой связи нет в случае с Песоцким из Борисовки, как она есть в случае с Ковриным из **Ковринки**, где вовсе и не обязательна?

Другую загадку задает происхождение фамилии **Коврин**. Будет ли преувеличением, если мы скажем, что такая фамилия настолько редка, что кажется искусственным созданием? Ее нет в справочниках⁶ того времени, и по законам русского словообразования она не могла бы возникнуть? Поиск апеллятивной основы для этой фамилии поражает разнообразием вариантов. Лингвистически Коврин может являться видоизменением фамилии **Ковров**, происходящего от имени собственного **Кóвер**, и **Каверин** от **Коверя** с диалектными значениями глагола **коверить** ‘изгибать, ломать, мять’ (костр.), ‘гримасни-

³ И. Сухих, „Черный монах”: проблема интерпретации, [в:] его же, *Проблемы поэтики Чехова*, Санкт-Петербург 2007, с. 165.

⁴ Правда, фамилия **Песоцкий (Piesocki)** редка для Польши. В словаре *Słownik nazwisk współczesne w Polsce używanych*, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, основанном на переписи населения в 1990 году, найдено всего 12 фамилий.

⁵ *Polskie nazwy własne. Encyklopedia*, Warszawa–Kraków 1998, с. 148.

⁶ Zob.: *Адрес-календарь, или общий штат Российской империи; Адрес-календарь. Общая ростпись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи*, [в:] *Алфавитные указатели лиц, включенных в общероссийские Адрес-календари с 1847 по 1916*, Санкт-Петербург. На компакт-диске.

чать, передразнивать’ (влад.), от которых произошли топонимы **Каверя** и **Коверино**⁷. Возможны и иные вариации: Коврин мог возникнуть от существующей фамилии **Кобрин**. Юрий Федосюк полагает, что Кобриным могли называть „малого ребенка по его миниатюрности. Есть и река Кобра, приток Вятки”⁸. Правда, это название не имеет ничего общего со змеей, которую долгое время называли аспидом. Протоназванием могла послужить **Ховринка** – название родового имения Ховриных-Головиных (от прозвища **ховря** ‘неопрятный, нечистоплотный человек’), ныне входящего в территорию Москвы, а также распространенные фамилии **Ковригин**, **Коровин** **Коваров** (в основе – **ковар** ‘кузнец; зачинщик, злоумышленник’).

Повлиять на фамилию могли и польские фамилии типа Коврун (Kowrun), Коврус (Kowrus), Ковиор (Kowior), Ковера (Kowera), восходящие к диалектному слову **kower** ‘толстая палка, которой что-то подпирают’⁹. **Коврин** мог произойти от формы **Корвин** (Korwin, лат. *corvinus* ‘воронов, вороний’), а **Корвин** – польская геральдическая фамилия, выступающая обычно первой частью двойной фамилии. Например, в России жил род Корвин-Круковских. Был еще Корвин-Шиманский, а **Шиманский** мельком упоминается в *Лешем* и в очень значимом контексте – как помещик, который продал лес на сруб, против чего выступал Хрушов.

Таким образом, мы видим, что обилие этимологий одной фамилии подчеркивает значимость текстовой суггестии, которая порой действует независимо от воли и сознания автора (а возможно, проникая глубоко в подсознание автора), и выбирает то или иное значение, опираясь на богатейший языковой и даже многоязычный материал. Эта текстовая суггестия выдвигает и оформляет проблему антропонима в *Черном монахе*, иначе говоря, ставит загадки, ответы к которым мы постарались подобрать и представить в данной статье.

Имя и язык. Повесть *Черный монах* написана в Мелихове (летом 1893 года), однако топонимия в ней не только мелиховская. Ведь „коммерческий” фруктовый сад Песоцкого, приносящий несколько тысяч чистого дохода, вряд ли мог находиться в средней полосе России с ее влажным климатом. На карте современной Ростовской области (бывшей Области Войска Донского), куда входит Таганрог, мы нашли и хутор Борисовку (Тацинского района), и хутор Коврино (Пролетарского района). Правда, расстояние между ними составляет около 200 километров, что не соответствует семидесяти верстам, обозначенным в тексте. Однако же если учесть, что Борисовка – очень распространенный топоним (есть в России, Украине, Белоруссии), а Коврино – едва ли не

⁷ С. Веселовский, *Ономастикон*, Москва 1974, с. 146; *Этимологический словарь славянских языков*, т. XII, Москва 1985, с. 12.

⁸ Ю. Федосюк, *Русские фамилии. Популярный этимологический словарь*, Москва 2006, с. 100.

⁹ K. Rymut, *Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny*, t. I, Kraków 1999, с. 452.

единственный, то разнообразие этимологических поисков сводится к одному источнику – современному единственному топониму Коврино и его принадлежности к определенной местности. Уникальность фамилии Коврин относит ее к антропонимическому ареалу Донского края:

Разновидностью редких фамилий можно считать **универальные** фамилии, которые не только не встречаются в других населенных пунктах Подонья, но и в силу семантики основ маловероятны для других русских антропонимических ареалов¹⁰.

Фамилия **Песоцкий** также редка, но устойчиво встречается в адрес-календарях. Она может быть подсказана названием **Белопесоцкой** волости или **Белопесоцкой** слободы в Серпуховском уезде Московской губернии, что по соседству с Бавыкинской волостью, где в усадьбе Мелихово в 1892 году обосновался Чехов (около тридцати километров). Этот топоним появляется у Чехова всего один раз в письме к Наталье Линтваревой от 22 июля 1892 г (*Письма: V, 95*). Название же к слободе перешло от Троицкого Белопесоцкого монастыря, основанного в конце XV веке „на белых песках”¹¹ игуменом Василием, также получившим достойное прозвание Белопесоцкий.

Песок (в том числе и с карьеров в Белопесоцкой слободе) имел огромнейшее значение для строительства и садоводства. Желтым песком покрывались аллеи в парках и на подворьях, и поэтому он был важной эстетической деталью сада Песоцкого. Чехов был внимателен к этому предмету внешнего мира: в повести *Моя жизнь* показана ситуация, когда мужики поднимали цену за перевозку речного песка (IX, 249). Старший брат Антона Чехова Александр рассказывает курьезную историю о том, как отец посыпал песком двор перед домом, а крестьяне, пришедшие к доктору Чехову „своими сапожищами весь песок расшаркали и растоптили!”, из-за чего Павел Егорович прогнал больных¹².

Имена в тексте. Даже лишенные откровенно игрового начала и не пронизанные антономасией¹³, фамилии в *Черном монахе* не лишены художественной коннотации, благодаря которой, замечает Ежи Фарино, „имена собственные воспринимаются так же, как и остальные имена нарицательные”, т.е., „вызывают разные ассоциации и за счет семантики и этимологии, и за счет своих формальных свойств (звукание), артикуляция, морфология, иногда и на-

¹⁰ *Русская ономастика и ономастика России. Словарь*, под ред. О.Н. Трубачева, Москва 1994, с. 253.

¹¹ Белые пески – это название двух песчаных карьеров на берегу реки Оки в предместьях города Ступино, один – в 300 метрах от монастыря, другой – у ж.-д. станции. Один из них раньше был соединен с Окой, сюда загоняли баржи, спускали воду и, насыпав баржу песком, снова заполняли карьер водой, а баржу сплавляли по реке.

Zob.: [online], <http://www.4turista.ru/content/belopesotskii-monastyr> (05.04.2012).

¹² Ал. Чехов, *В Мелихове (Страница из жизни А.П. Чехова)*, [CD].

¹³ Т. Хазарев. *Стилистические функции антономасии и трудности ее выявления в рассказах А.П. Чехова*, [в:] *Языковое мастерство Чехова*, Ростов-на-Дону 1988, с. 6–7.

чертание), и за счет представлений о самом упоминаемом носителе данного имени, и за счет формантов, выражающих отношение к носителю имени...”¹⁴. Такими нарицательными формами служат понятия **песок** и **ковер**.

Слово **ковёр** вносит комичность в образ Коврина. Так, в беседе с черным монахом, рассуждая о счастье, Коврин выглядит нелепо: „Когда часы били пять, он сидел на кровати, **свесив ноги на ковер**, и говорил, обращаясь к монаху” (VIII, 248). Комичность позы философа с босыми ногами не может считаться случайной или безразличной для автора. Бытовая деталь, будучи частью языка (а не только интерьера), входит в целый комплекс темы лжи, вранья (врать – не только **обманывать**, но и **говорить, зарапортоваться**, как зарапортовался Войницкий в *Дяде Ване*, сравнив себя с Достоевским и Шопенгаузером). В *Ионыче* (1898) настоящим вралем выступает полностью комический Иван Петрович Туркин¹⁵. Ему Чехов вкладывает в уста школьный каламбур:

Я иду по ковру, ты идешь, пока врёшь, – говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врёт... Трогай! Прощайте пожалуйста! (X, 33).

В *Черном монахе* таким плутом выступает, скорее, не серьезный Коврин, а быстрый, „мечущийся как угорелый” Песоцкий. К туркинской велеречности явно относится писательство, или графоманство, которому опекун Коврина предается с такой же страстью, как и садоводству (вспомним и Веру Иосифовну Туркину, писавшую бездарные романы). Но эта же страсть, воинственная и нетерпимая, – ср.: „Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война, – подумал Коврин” (VIII, 238) – проявляемая в писательстве, переносится в жизнь. Многие исследователи обращали внимание на диктаторский тон помещика с замашками крепостника, с которым хозяин Борисовки учиняет разнос своим работникам¹⁶. Отсюда один шаг к помещику Войницкому (*Леший, Дядя Ваня*).

Гибель сада была уже предугадана вначале – не только самим Песоцким, сказавшим, что „первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек” (с. 236), но и самим ходом повествования, а последнее, по мнению Худзинской-Паркосадзе, является „объективным компонентом текста”¹⁷. И уже в первом описании сада, в его надуманной красоте, соответству-

¹⁴ Е. Фарини, *Имена*, [в:] его же, *Введение в литературоведение*, Санкт-Петербург 2004, с. 130.

¹⁵ Вместе с фамилией *Туркин*, произошедшей скорее всего от прозвища Турка (вспомним, что так звали казаков Мелеховых в *Тихом Доне*), упомянем еще ряд фамилий, относящихся к антропонимическому ареалу донского казачества: Каргина, Иловайский, Ревунов, Шумилин (у Чехова жительница Юга России Шумина в *Невесте*), исказенная Асловская (вместо Ословская), Дымов, Баштанов, Жмухин, Лесницкий и др.

¹⁶ А. Кубасов, *Проза Чехова: искусство стилизации*, Екатеринбург 1998, с 305.

¹⁷ А. Худзинская - Паркосадзе, указ. соч., с. 50.

ющей, по мнению Чеслава Андрушко, первой из трех частей дантовской *Божественной комедии* – Раю¹⁸, появляются тревожные мотивы разрушения Райского сада:

Каких только тут не было причуд, изысканных **уродств и издевательств** над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слива – цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством (VIII, 227).

Пирамиды, шары, канделябры составляют вывороченную наизнанку культуру человека, геометрическую структуру утопического мира со своими храмами, шпилями и куполами, построенного волей одного человека – Песоцкого, и внутренний образ фамилии здесь уже довольно прозрачно намекает на евангельскую притчу о безрассудном строителе (в церк.-слав. **муж уродив**), построившем свой дом (**храмина**) на песке (**на песцѣ**). Церковнославянский язык Евангелия точнее обозначает аллюзивность фамилии героя:

И вся́к слы́шай словесá мой сія́, и не творя́й ихъ, уподобя́йся мýжу урóдиву, иже созда́ хráмину свою́ **на песцѣ**:

и снide дóждь, и прíдоша рéки, и возвéяша вéтри, и опрóшася хráминъ тóй, и падéся: и бѣ разрушéниe ея вéліе... (Матф. 7: 26–27).

Кстати, в приведенном описании сада Песоцкого в скрытом виде присутствует ковёр (Коврин). Гигантский сад воспринимается не только топографически, как часть земли величиной в сорок десятин, и не только стереоскопически, как город с храмами, но и в двумерном измерении – как объем, перенесенный на плоскость. Об этом говорит слово *шпалера*, означающее, по Ожегову, ‘1. Шеренга войск по сторонам пути следования кого-н.; 2. ряд деревьев, кустов по сторонам дороги; 3. решётка для выющихся растений; 4. то же, что *обои* (ручной настенный ковёр или ручная обивочная ткань)’. Выделим **обои и настенный ковер** – повествователь, рассматривая сад Песоцкого, остается художником, а не садовником. Как художник слова, автор мог бы таким образом использовать языковую метафору **ковром лежит зелень** или **ковры цветов**. Эта бахтинская позиция вненаходимости автора, по существу, реализуется в пространстве повести: взгляд извне, взгляд сверху на цифру, составленную из деревьев, соответствует тому, что введенный автором Коврин остался внешним по отношению к саду и чуждым по отношению к Песоцким людям.

Имплицитно заявленная тема лжи по-разному реализуется в образе двух героев: комически у Песоцкого и трагически у Коврина (об этом ниже).

Интертекст и мифопоэтика. К. Чуковский, отмечая общность пьес *Лесий* и *Дядя Ваня*, обозначает важную у Чехова метатему, которая появляется

¹⁸ Ч. А д р у ш к о, *Символика хронотопа в рассказе А.П. Чехова „Черный монах“*, [в:] *Мова і культура*, вып. 11, т. XII, Київ 2009, с. 201.

и в *Черном монахе*, и в *Вишневом саде*, и др. Тема леса, способного изменить и климат, и человека – очень давняя и вымученная тема у Чехова. Идея писать пьесу о Лешем появилась у Чехова в тот же год, когда была написана первая крупная повесть *Степь*: „Создавая в *Дяде Ване* образ фанатика древонасаждения Астрова, Чехов, в сущности, писал свой автопортрет”¹⁹. А образом, послужившим предтечей Хрущеву и Астрову, своеобразной антропонимической матрицей, был некий помещик **Коровин**, из Афиши к будущей пьесе, над которой Чехов некоторое время работал с Алексеем Сувориным.

Виктор Петрович Коровин, помещик лет 30–33, Леший. Поэт, пейзажист, страшно чувствующий природу. [...] Дерево прекрасно, но мало этого, оно имеет право на жизнь, оно нужно, как вода, как солнце, как звезды. Жизнь на земле немыслима без деревьев. Леса обуславливают климат, климат влияет на характер людей и т.д., и т.д. (*Письма*: III, 32–37).

Посадив всего одно дерево, Коровин понял, „что помог создать Богу новую березу”. Хрущев борется с вырубанием лесов, Песоцкий возвел целый город-сад, вишневый сад Гаевых падает под ударами топоров.

Распределим в хронологическом порядке проявление темы леса-лешего и увидим, что Песоцкий в *Черном монахе* появляется как раз между *Леиум* и *Дядей Ваней*: Коровин (1888) – Хрущев (1890) – Песоцкий (1893) – Астров (1897) – Гаев – Раневская в *Вишневом саде* (1903). Обратим внимание на единство семантики „природного” ряда антропонимов: <корова> (и метонимически **трава**) – <хрущ> (майский жук и метонимически **зелень**) – <лес> (от **Леший**) – <Песоцкий> (песок) – <астра> (не только звезда²⁰, но и цветок) – <гай> (отдельно стоящий **лесок**) – <ранет> или <рай> (в обоих случаях актуализировано **яблоко**). Растительный ряд дополнен именами других персонажей. Наибольшее количество флористических антропонимов – в *Вишневом саде*: Шарлотта (ср. яблочный пирог **шарлотка**), Дуня (ср. **дыня**) Козеева, Кардамонов, Рагулин, Фирс.

В *Черном монахе* все три компонента имени **Песоцкий Егор Семенович** этимологически и анаграмматически указывают на землю: *Егор* – *Егорий* – *Георгий* с греч. означает ‘земледелец’. Исследовательница „георгиевского” текста у Андрея Платонова Мария Дмитровская показывает связь с земледельческим мотивом имени Семен (Симон): „В этом качестве имя крестьянина **Егор** обнаруживает тесную смысловую связь с отчеством **Семенович**”²¹, в котором актуализируется понятие семени и, по выражению Владимира Топорова, „с сеянием как зачинателем новой жизни”²². Мифологический ком-

¹⁹ К. Чуковский, *О Чехове*, Москва 1971, с. 20.

²⁰ Рор. Отрывок из Афиши: „дерево... нужно, как вода, как солнце, как звезды” (*Письма*: III, 34).

²¹ М. Дмитровская, *Персонажи георгиевского ряда у А. Платонова в историко-культурной перспективе*, „Балтийский филологический курьер” 2003, № 3, с. 21.

²² В. Топоров, *Две заметки из области ономатологии. II. О мифопоэтическом образе Семена и Семеновны в русской традиции*, [в:] *Имя: внутренняя структура, семанти-*

плекс имени Егор (воин – сеятель – креститель), восстанавливает культ Ярилы и миф о боге Громовнике. В этом смысле имя Егор (Георгий) представляет собой коррелят фамилии Песоцкий (земля как песок, но на песке ничего не растет, не строится).

Итак, имя Егор Семенович Песоцкий реализует мифологическую заданность и помогает герою создать город-сад, мир-сад. Литературная воинственность героя восстанавливает свой смысл в мифопоэтической перспективе. Егор Песоцкий – один из героев-воителей у Чехова, реализующих мифологический змееборческий сюжет, в котором битва Георгия-героя со своим противником оканчивается поражением, гибелью, отвержением героя и низвержением его в семантическую зону **горя** (Ср. поговорку „Пр горького Егорку поют и песню горьку“). В этом, на наш взгляд, проявляется принципиальный момент в отражении мифа о Георгии Победоносце в литературе: чеховские Егоры или обречены на поражение, или представляют собой „падших“ или „бывших“ героеv²³.

Косвенно на миф о Георгии Победоносце указывает название имения Борисовка, образованное от имени **Борис**. А **Борис** и **Глеб** – первые мученики-страстотерпцы на Руси, их почитание, как показывает Б. Успенский, типологически совпало с каноном мученика Святого Георгия²⁴.

Имя противника бога **Громовержца** в разных традициях связывается с культом бога Волоса/Велеса и волосяным мотивом²⁵. В позднюю христианскую эпоху Волос/Велес был заменен христианским покровителем скота святым Власием, который распространяется на имя Василий – в отчестве Коврина. И теперь впору вспомнить фамилию **Кобрин**, которая могла быть прото-фамилией для Коврина. В современном звучании эта фамилия внезапно открывает змеиную семантику (ср. также змеиную семантику имени Василий – **vasilisk** ‘сказочное чудовище, змий’), христианством ассоциированную с противником Громовежца. Таким образом, в контексте мифа о боге Громовнике введен и **Коврин** Андрей **Васильевич**. В аспекте мифа „негативное“ восприятие образа Коврина подтверждается негативными семантическими свойствами его фамилии – диалектное слово **коверять**, предположительно лежащее в основе фамилии, означает, как мы помним, **ломать, изгибать, мять**. А древнерусское слово **ковъ** (еще был такой вариант – **ковы**, отсюда

ческая аура, контекст. Тезисы международной научной конференции, ч. 1, Москва 2001, с. 73.

²³ Данная линия „падших Егоров“ развивается в наших статьях: Р. Шубин, *Егор у Чехова*, [в:] Декабрьские чтения, Ереван 2007, с. 55–79; *Егор в литературе XX века*, [в:] Международная научная конференция „Русская литература в меняющемся мире“. Сборник статей, Ереван 2006, с. 207–220.

²⁴ Б. Успенский, *Борис и Глеб. Восприятие истории в Древней Руси*, Москва 2000, с. 11, 27.

²⁵ См.: В. Иванов, В. Топоров, *Исследования в области славянских древностей*, Москва 1974, с. 5, 92–93.

диалектн. **оковы**) означает ‘тайные, коварные умыслы; козни’. На мифопоэтическом уровне „растительные” Песоцкие²⁶ хотели привить к себе „чужого” человека, мужчину Андрея (ср.: „Вы мужчина”, говорит Таня; от греч. *andreios* ‘мужественный’), отсюда и пресловутые садоводческие понятия, перечисленные Таней, приводят в итоге к супружеству: **окулировка, копулировка**, означающие разные виды **прививки** растений. С той же целью другие названия („апорт, ранет, боровинка“) анаграмматизируют фамилию героя (**Корвин**), как бы вызывая и призывая его.

Разбирая персонажей из „Афиши” к будущей пьесе, Елена Толстая пишет, что бунтарю Волкову (прототипу Войницкого), „симпатичному, но вредоносному, подрывающему моральные основы под видом духовного освобождения от старых догм”, противопоставляется бунтарь с „природной” фамилией – „жизнеутверждающее начало, «зеленое дерево жизни» – лес, Леший. [...] вначале Коровин, а потом Хрущев и Астров”²⁷. Но чтобы быть более точным, лучше указать на противопоставление растительно-природного ряда хищнически-агрессивному: Волков, Войницкий. Можно вспомнить еще Лидию **Волчанинову** (*Дом с мезонином*) с диктаторскими замашками.

В *Черном монахе* нет какого-либо зоонима, указания на звериное начало, но есть **кровь** – как часть живого организма. Фамилия Коврин анаграмматически вызывает **кровь**. Коврин умер от чахотки, неназванной в тексте, и поэтому эта странная смерть напоминает убийство. Его в прямом смысле убила чахотка, и в финальной сцене Коврин буквально окрашивается кровью: „...кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он не знал, что делать, водил руками по груди, манжетки стали мокрыми от крови” (VIII, 257). Смертельное кровохарканье Коврина (а ведь в марте того же 1893 года впервые началось кровохарканье и у Чехова) раскрывают не растительную, а животную сущность персонажа (ассоциированного с Волковым из „Афиши”).

Однако „убитый” герой не был хищником, его смерть – итог трагического заблуждения героя-интеллигента, как пишет Андрушко, слишком поздно открывшего, что „его мировоззрение ориентировано извне на ложную систему ценностей и в сущности лишено основополагающего внутреннего фактора”²⁸, с „отнятой волей” он обречен на поражение. Так, смерть Коврина уравнивает его с его философским антиподом Коровиным-Песоцким, проявлявшим слишком много своей воли в деле, которым занимается преимущественно природа.

Таким образом, рассмотрение Коврина в контексте анропонимической матрицы существенно обогащает содержание образа, выявляя общность финала для трех персонажей – Войницкий (*Леший*) застрелятся, Коврина убьют

²⁶ Рог.: „Мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш” (VIII, 230).

²⁷ Е. Т о л с т а я, *Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880 – начале 1890-х годов*, Москва 2002, с. 115.

²⁸ Ч. А н д р у ш к о, указ. соч., с. 204.

болезнь, Войницкий-второй (*Дядя Ваня*) останется жить, обреченный мечтать „о небе в алмазах”.

Прецедентные имена. Для полноты антропонимической парадигмы следует ввести еще несколько прецедентных фамилий. В период работы в московском журнале „Зритель” в 1883 году Чехов использовал псевдоним М(иша) Ковров. Л. Дворникова предполагает, что наряду с этим псевдонимом были использованы и другие, в частности М. Ковров. Аявру; Яневру; Забава²⁹. Оставим в стороне вопрос об аутентичности приводимых исследовательницей текстов, однако выделим, что фамилии Ковров и его апеллятивная основа – *ковер* связаны с искусственными образованиями Аявру и Яневру, отсылающими нас к процитированному школьному каламбуру (**покавру**).

Интересно, что и Константин Треплев и Вершинин прежде чем стать именами чеховских героев, были псевдонимами братьев Михаила и Александра Чеховых. Не является ли и Коврин намереннымискажением раннего и редкого псевдонима Ковров?

В „Зрителе”, а также в „Осколках”, „Будильнике” и т.д. Чехов сотрудничал с сатирическим поэтом, журналистом и издателем „Московского обозрения” Гавриилом Александровичем Хрущовым-Сокольниковым (1845–1890), сыном богатого помещика тульской губернии Александра Сокольникова. С 8-ми лет после смерти отца Гавриил воспитывался у опекуна – дяди матери генерала Александра Хрущова (фамилию которого впоследствии и взял). Очевидно, что и фамилия, и данный факт биографии Хрущова-Сокольникова заимствованы Чеховым для своих произведений. В 1889 г. Чехов советовал своему брату фамилии **Хрущов** и **Серебряков** в качестве псевдонимов (*Письма: III*, 211), в 1890-м, как раз в год смерти поэта и сотрудника „Будильника” и „Мирского толка”, фамилия Хрущов вошла в пьесу *Легший*, а в 1893 *Черный монах* начинается с упоминания о родственных связях между Песоцким и Ковриным.

Однако к личности Хрущова-Сокольникова Антон Чехов относился с нескрываемым презрением и не склонен был переоценивать ни художественное творчество, ни фанатические увлечения писателя-графомана то фотографией, то электричеством. Он обладал коммерческой жилкой, у него был свой фотографический салон, журнал, он скупал различные патенты, вкладывая деньги в науку и искусство. Одержаный садоводством и великолепно при этом зарабатывающий (своим коммерческим садом), Песоцкий тоже напоминает такого вот „идейного” борца, альтруиста и коммерсанта.

„Бессмертнейший враль” (XVI, 56), „шельма”, „брехун не тебе чета” (*Письма: I*, 44), – рядом с этим именем Чехов не стеснялся употреблять нецензурные выражения (там же), – Хрущов-Сокольников отличался еще одним талантом: „Кто не видал Неаполя, тот не видал ничего, кто же ни разу не слушал

²⁹ Л. Дворникова, *Новые псевдонимы А.П. Чехова? (Чехов и московский журнал „Зритель”)*, „Русская литература” 2005, № 3, с. 137–138.

Сокольникова, тот не слыхал ничего. (Этот поэт-Хлестаков теперь в Питере) — пишет Чехов в „Осколках московской жизни” (XVI, 56). Таким образом, уже в публицистике оформлялся образ плута, „поэта-Хлестакова”, черты которого отчасти перешли ко многим чеховским персонажам-плутам (Туркин, Песоцкий, Ращевич).

Но Гавриил Сокольников оставил след в жизни Чеховых не только как сатирический поэт и романист, пишущий низкохудожественные романы³⁰. Есть и родство, но какое! Бывшая его жена Анна Ивановна Хрущова-Сокольникова, разведенная из-за супружеской неверности, стала гражданской женой Александра Чехова. Дворникова описывает драматическую жизнь Александра Чехова с Хрущовой-Сокольниковой. Под влиянием Антона Чехова родители отказались принимать семью Александра и крестить его ребенка. Переживания, смерть первенца и семейная жизнь с Анной очень тяжело оказались на здоровье Александра. Видно, для Чехова этот брак был драматическим, но логическим результатом богемной жизни („эмансипация женщин, гражданские браки, внебрачные дети”), которая захватила братьев Чеховых в Москве, а в 1889 году унесла жизнь брата Николая³¹.

Конечно, о полном соответствии Хрущова-Сокольникова образу Песоцкого не может быть и речи, но, безусловно, трагические отголоски семейной драмы Александра Чехова раздались в творчестве писателя. А звучное слово **хруш** („майский” жук, от глагола **хрустеть**, польск. **chrząszcz**), не случайно занесенное в рассказ (единственное во всей беллетристике Чехова), может служить знаком присутствия человека, досаждавшего своей говорливостью, пустой звучностью, бессмысленным жужжанием: „первый враг... не хруш... а чужой человек”.

Коровин из „Афиши” к пьесе был назван поэтом и пейзажистом. „Пейзажист Коровин” также прецедентное имя и напоминает о **Константине Алексеевиче Коровине**, известном художнике-импрессионисте, начинавшем как пейзажист. С ним и с Исааком Левитаном — студентами училища живописи, ваяния и зодчества — молодой Антон Чехов познакомился в начале 1880-х годов через своего брата Николая. Сам Коровин оставил воспоминание о споре Чехова со студентами, порицавшими безыдейность молодого писателя, и знаменитой прогулке в Сокольниках (!), под Москвой³². Близость Чехова к Коровину и художникам „мамонтовского кружка”, настаивающим „на важном самостоятельном значении красоты и «отрадного» в искусстве”³³, описывалась неоднократно и во многом связана с новаторским языковым опытом Чехова.

³⁰ Zob.: П. Ларинец, „Грюнвальдский бой” Г.А. Хрущова-Сокольникова и „Альф и Альдона” Н.В. Кукольника, [в:] Славянские чтения, VII, Даугавпилс 2009, с. 59.

³¹ Л. Дорники, указ. соч., с. 135.

³² К. Коровин, Из моих встреч с Чеховым, [в:] А.П. Чехов в воспоминаниях современников, Москва 1986, с. 27–30.

³³ А.П. Чехов в воспоминаниях..., указ. соч., с. 12.

Но вот что интересно – в *Лешем* комический персонаж по фамилии Дядин, неудачно вмешиваясь в разговор, произносит фразу, избыточную по своему значению: „Брата моего Григория Ильича жены брат, изволите знать, **Константин Гаврилыч** Новоселов, был магистром иностранной словесности” (ХII, 287). Такой же прием был сохранен и *Дяде Ване*, где Телегин-Вафля произносит: „Брата моего Григория Ильича жены брат, может, изволите знать, **Константин Трофимович** Лакедемонов, был магистром...” (ХIII, 100–101). В обоих случаях персонаж успевает дотянуть до слова „магистр”, которого якобы должен знать профессор словесности. И в обоих случаях константным остается имя **Константин**. Эти имена магистра рассчитаны исключительно на звуковое восприятие и комический эффект, а также сохраняют память о несоединимых людях в театре жизни: Константине **Коровине** и Гаврииле **Хрущове**-Сокольникове. А сама модель родственной связи так хорошо нам знакома по чеховскому псевдониму „Брат моего брата”. Только теперь у этого брата (например, Александра) появилась жена.

Итак, антропонимическое пространство повести *Черный монах*, несмотря на минимальное количество наименований и скрытую семантику фамилий, чрезвычайно сопротивляется однозначной интерпретации. Глубина значений каждого антропонима связана не столько с судьбой и оценкой персонажа, сколько с судьбой слова, имени, проходящего свой исторический путь. Выбирая внешне неброскую и обычную фамилию, автор тем не менее „подчиняется” внушению со стороны текстуальных, внетекстуальных и интертекстуальных структур и создает фамилии в своем роде уникальные, охватывающие далекие смысловые горизонты. Так, фамилия Коврин с темной этимологией и Песоцкий с прозрачной внутренней формой оказываются вовлечены в мифологический сюжет, осмысление которого уводит далеко за пределы рассказа. И Коврин, и Песоцкий, каждый по-своему, выражают частные, личные идеи Чехова, но, в художественном (и, добавим, несколько загадочном) тексте, они затрагивают космическую проблему меры человеческой духовной ответственности и безответственности, воли и безволия, борьбы со злом и сотворения добра.